

Н. Лесков

**Все произведения Николая
Лескова. Том 10**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Л50

Л50 **Лесков Н.С.**
Все произведения Николая Лескова. Том 10 / Н. Лесков – М.: Книга по Требо-
ванию, 2021. – 326 с.

ISBN 978-5-4241-3249-0

ISBN 978-5-4241-3249-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Н.С. Лесков, 2021

Николай Семенович Лесков
Собрание сочинений в
одиннадцати томах
Том 10

Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко

*В мяч не любил он играть никогда:
Сам он был мячик — судьба им игра-
ла¹.*

А. Плещеев.

Итак, осиротела малороссийская лира. Лежит в гробу ее бездыханный поэт. Тараса Григорьевича Шевченко не стало. Сегодня гроб его опустили в сырую могилу на Смоленском кладбище, напутствуя его прощальным словом и братскою слезою. Не стану говорить, как велика эта потеря для малороссийской литературы в эпоху ее возникновения, в день рождения «Основы»², которой покойный поэт сочувствовал всей душою. Значение Шевченко известно всякому, кто любил родное славянское слово и был доступен чему-нибудь высокому, изящному, — но не могу отказать себе в удовольствии поделиться с читателями «Русской речи» теми впечатлениями, которые оставили во мне последняя моя встреча с покойным поэтом и последняя моя разлука с ним у его могилы.

Из петербургских газет, я думаю, всем уже известно, что Т. Г. Шевченко прихварывал еще с прошлой осени, а в конце января этого года он уже почти не оставлял своей квартиры в доме Академии художеств. Квартира эта, отведенная ему после возвращения его в Петербург³, состояла из одной очень узкой комнаты, с одним окном, перед которым Шевченко-художник обыкновенно работал за мольбертом. Кроме стола с книгами и эстампами, мольберта и небольшого диванчика, обитого простою пестрой клеенкой, двух очень простых стульев и бедной ширмы, отгораживавшей входную дверь от мастерской художника, в этой комнате не было никакого убранства. Из-за ширмы узкая дверь вела по узкой же спиральной лестнице на антресоли, состоящие из такой же комнаты, как и внизу, с одним квадратным окном до пола: здесь была спальня и литературный кабинет Шевченко-поэта. Меблировка этой комнаты была еще скуднее. Направо в угле стоял небольшой стол, на котором обыкновенно писал Шевченко; кровать, с весьма незатейливой постелью, и в ногах кровати другой, самый простой столик, на котором обыкновенно стоял графин с водой, рукомойник и скромный чайный прибор.

Около года я не был в Петербурге и, возвратись в конце января в северную Пальмиру, тотчас отправился поклониться поэту. Возле его дверей мне встретился солдат, который обыкновенно ему прислуживал. «Дома Тарас Григорьевич?» — спросил я его. «Нетути, — отвечал служака, — он нонеча рано еще уходил из дома». Я, однако, подошел ближе к двери поэта с намерением положить в створной паз мою карточку, как я прежде часто дельвал, когда не заставал его дома, но, к крайнему моему удивлению, дверь от легкого моего прикосновения отворилась. В комнате, служившей мастерской художнику, никого не было, а наверх я не хотел идти, боясь обеспокоить поэта, и стал надевать мои калоши. «Кто там?» — раздалось в это время сверху. Я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию. «А... ходить же, голубчику, сюда», — отвечал Тарас Григорьевич. Войдя, я увидел поэта: он был одет в коричневую малороссийскую свитку на красном подбое и сидел за столом боком к окну. Перед ним стояла аптечная

банка с лекарством и недопитый стакан чаю. «Извинить, будьте ласковы, шо так принимаю. Не могу сойти вниз, — пол там проклятый, будь он неладен. Сидайте». Я сел около стола, не сказав ни слова. Шевченко мне показался как-то странным. Оба мы молчали, и он прервал это молчание. «Вот пропадаю, — сказал он. — Бачите, яка ледащица з мене зробылась». Я стал всматриваться пристальней и увидел, что в самом деле во всем его существе было что-то ужасно болезненное; но ни малейших признаков близкой смерти я не мог уловить на его лице. Он жаловался на боль в груди и на жестокую одышку: «пропаду», — заключил он и бросил на стол ложку, с которой он только что проглотил лекарство. Я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами, да, впрочем, и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потрясений, не поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал. «Ну, годи обо мне, — сказал поэт, — расскажите лучше мне, что доброго на Украйни?» Я передал ему несколько поклонов от его знакомых. Он о всяком что-нибудь спросил меня, и очень грустил о больном художнике Ив. Вас. Г<удовско>м, у которого гостил в последнее свое пребывание в Киеве⁴. Говоря о Малороссии и о своих украинских знакомых, поэт видимо оживал: болезненная раздражительность его мало-помалу оставляла и переходила то в чувство той теплой и живой любви, которою дышали его произведения, то в самое пылкое негодование, которое он, по возможности, сдерживал.

На столе, перед которым он сидел, лежали две стопки сочиненного им малороссийского букваря⁵, а под рукой у него была другая «малороссийская грамотка»⁶, которую он несколько раз открывал, бросал на стол, вновь открывал и вновь бросал. Видно было, что эта книжка очень его занимает и очень беспокоит. Я взялся было за шапку. Поэт остановил меня за руку и посадил. «Знаете вы вот сию книжицу?» — он показал мне «грамотку». Я отвечал утвердительно. «А ну, если знаете, то скажите мне, для кого она писана?» — «Как, для кого?» — отвечал я на вопрос другим вопросом. «А так, для кого? — бо я не знаю, для кого, только не для тех, кого треба навчить разуму». Я постарался уклониться от ответа и заговорил о воскресных школах, но поэт не слушал меня и, видимо, продолжал думать о «грамотке».

«От як бы до весны дотянуть! — сказал он, после долгого раздумья, — да на Украйну... Там, може бы, и полегшело, а може б, еще хоть трошки подыхав». Мне становилось невыносимо, я чувствовал, как у меня набегали слезы. Он расспрашивал меня о Варшавской железной дороге и Киевском шоссе. «Да! — сказал он, — когда б скорее ходили почтовые экипажи, не доедешь живой на сих проклятых перекладных, а ехать нужно, — умру я тут непременно, если останусь».

Я стал прощаться. «Спасыби, шо не забуваєте, — сказал поэт и встал. — Да, — прибавил он, подавая мне свой букварик, — посмотрите его да скажите мне, что вы о нем думаете». С этими словами он подал мне книжку, и мы расстались... навсегда в этой жизни. Более я не видал уже Шевченко в живых, и весть о его смерти 26 февраля меня поразила, как громовой удар. Утром 27 февраля я с другим моим земляком и знакомым покойника, А. И. Н<ичипорен>ко⁷, отправились в Академию. Дверь Шевченко была заперта и запечатана; мы догадались и пошли в академическую церковь. Там в притворе стояла белая гробовая крышка, а перед амвоном на черном катафалке виднелся гроб, обитый белым газетом. У

изголовья маленький человечек читал очень медленно и очень тихо. Я вспомнил, как год тому назад поэт хлопотал об издании псалмов⁸, переложенных им на малороссийский язык, и всегда озабоченный заходил ко мне по дороге из Александрово-Невской лавры на Васильевский остров. Теперь же ему читался один из переложенных им псалмов. Красные шторы у церковных окон, против которых стоял гроб, были спущены и бросали красноватый свет на спокойное лицо мертвеца, хранившее на себе печать тех благородных дум, которые не оставляли его при жизни. Три художника с бумагою и карандашами в руках стояли по левую сторону гроба и рисовали; две женщины с типами петербургских кухарок толковали, что и из хохлов тоже бывают умные люди и что покойник — вот майорского чина дослужился, а братья его так еще «помещицкие». Я вспомнил г. Флирковского⁹, законного помещика семьи умершего поэта... Вскочил какой-то кавалерист, в мундире приятного цвета, звеня шпорами и саблей, но, пройдя несколько шагов по церкви, взял саблю в руки и, приподняв каблучки, пошел на цыпочках — весь шум, производимый оружием, прекратился. В церкви опять водворилась благоговейная тишина, и раздавался только слабый голос маленького господина, читавшего над малороссийским поэтом воздыхания библиейского поэта-царя¹⁰.

28 февраля по совершении в академической церкви заупокойной обедни по рабе божием Тарасие и после отпевания по уставам церковным ближние покойника почтили его надгробным словом. Всех речей, если не ошибаюсь, было произнесено девять¹¹, — из них семь в церкви и две на кладбище. Общий смысл этих речей легко себе представить, и я не считаю нужным о них распространяться, потому что стенографировать их не было никакой возможности, а излагать их вкратце — значит портить их. Могу только сказать, что особенно сильно отозвалось в душе слушателей слово любимого нашего профессора Н. И. Костомарова и г. К<урочки>на, которому сдерживаемые слезы мешали произнести свое короткое слово, дышавшее сердечной простотой и искренностью. Могилу для Шевченки вырыли за колокольнею кладбищенской церкви, к стороне взморья: до времени он самый крайний жилец Смоленского кладбища, и за его могильной насыпью расстилается белая снежная равнина, как бы слабое напоминание о той широкой степи, о которой он пел и которую измерил еще «малыми ногами». В могилу был опущен дощатый ящик, высланный в середине свинцом, но так дурно запаянный в дне, что вода набралась в него прежде, чем гроб принесли на кладбище. И на третий день лицо поэта оставалось удивительно благообразным. Огромный лавровый венок окружал его благородное чело, — в руках у многих тоже были цветочные венки, которые они принесли, чтоб положить на свежую могилу поэта. Дам было очень немного, однако женская слеза из глаз г-жи Б<елозерской>¹² и старушки К<остомаровой>¹³ не обошла могилы Шевченко. Многие очень жалели, что нет семьи Т<олсты>х¹⁴, которые любили поэта и не забывали его в самые тяжелые минуты его многострадальной жизни.

Когда крышка ящика, в который поставили гроб, была запаяна, провожавшая покойника толпа стала расходиться. Снег повалил довольно большими хлопьями, какой-то господин с папкою в руках юлил между проходящими, предлагая литографированные портреты мертвого Шевченки, старухи из богадельни канючили на упокой душеньки — на душе становилось тяжче и тяжче. Давно ли Россия схоронила Хомякова, Аксакова¹⁵, и вот опять новая могила. Не стало еще одного

человека, целую жизнь думавшего честную думу и умершего накануне дня освобождения 23 миллионов, между которыми до сих пор оставались родные и близкие сердцу поэта.

Но как поэтическая деятельность Шевченко останется в числе лучших страниц малороссийской словесности, так и самый день его погребения навсегда останется знаменательным в истории украинской письменности и гражданственности. Любимейшая мечта поэта сбылась и громко заявила свое существование. Малороссийское слово приобрело право гражданства, раздавшись впервые в форме ораторской речи над гробом Шевченко. Из девяти напутствований, сказанных над могилою поэта, шесть были произнесены на малороссийском языке. Из остальных трех речей две были произнесены по-русски и одна по-польски, как бы в значение общего горя славян, пришедших отдать последний долг малороссийскому поэту-страдальцу.

У малороссийского народа, слава богу, есть теперь своя литература, есть свои ораторы, свои историки, но *теперь* нет у нее такого лирика, каков был покойный Тарас Григорьевич Шевченко, справедливо названный в одной из сказанных над его гробом речей «батьком рідного слова». *Oratores fiunt, poetae nascuntur.*¹⁶

Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?»

(Письмо к издателю «Северной пчелы»)

Черт не так страшен, как его рисуют!

Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» кончился в майской книжке «Современника». Русская критика теперь занята: она думает, что ей делать с этим «Что делать?»

Кто читал самый роман и кого занимают отзывы, которые он должен вызвать у современной добросовестной критики, тот, разумеется, не станет искать этих отзывов в «Северной пчеле». Он станет искать их в так называемых *толстых журналах*, потому что в толстых журналах есть свои присяжные критики и в этих журналах места пропасть. Критику там можно разгуляться и тоску-скуку свою разогнать.

Но я, должно быть, не стану читать ни одной критики о романе г. Чернышевского. Этот труд для меня совершенно не нужен, потому что я чувствую, что о нем напишут в том или в другом из русских журналов. Это я чувствую не только потому, что я знаю симпатию и антипатию русских журналов, но и потому, что я даже слышал уже кое-что об этом романе, от тех самых, которые критики пишут. Это ведь вовсе не секрет, да и о романе Чернышевского толковали не шепотом, не тишком, — во всю глотку в залах, на подъездах, за столом г-жи Мильбрет и в подвальной пивнице Штенбокова пассажа¹⁷. Кричали: «гадость», «преlestь», «мерзость» и т. п. — всё на разные тоны.

Вследствие всех многообразных соображений, комбинирующихся по поводу прочитанного романа, выслушанных толков и ожидаемых рецензий, я решил-ся как можно поскорее сказать свое мнение о романе г. Чернышевского, или, лучше сказать, о г. Чернышевском в его новом произведении.

Над торопливостью моею нисколько не должно смеяться, ибо я вовсе не считаю моего отзыва о г. Чернышевском ни особенно верным, ни особенно необходимым, а спешу его написать, не читав еще ни одной критики, для того, чтобы написать мое *собственное* мнение, ни от кого не занятое, и никем не связанное насильно, по системе новейшего либерализма.

Имея в виду сказать здесь только мое *собственное* мнение, которое может очень мало согласоваться с мнениями «Северной пчелы» или даже, может быть, вовсе с ними не согласоваться, я пишу не статью, а простое письмо, за которое «Северная пчела», разумеется, не принимает никакой ответственности.

Я не утомлю читателя, ибо все, что я намерен написать о романе г. Чернышевского, очень коротко и несложно.

У меня создались два главные убеждения, от которых я не могу отрешиться и которые здесь высказываю.

Роман г. Чернышевского — явление очень смелое, очень крупное и, в известном отношении, очень полезное. Критики полной и добросовестной на него *здесь* и *теперь* ожидать невозможно, а в будущем он не проживет долго.

Я не могу сказать о романе г. Чернышевского, что он мне *нравится* или что он мне *не нравится*. Я его прочел со вниманием, с любопытством и, пожалуй, с

удовольствием, но мне тяжело было читать его. Тяжело мне было читать этот роман не вследствие какого-нибудь предубеждения, не вследствие какого-нибудь оскорбленного чувства, а просто потому, что роман странно написан и что в нем совершенно пренебрежено то, что называется *художественностью*. От этого в романе очень часто попадают места, поражающие своей неестественностью и натянутостью; странный, нигде не употребленный тон разговоров дерет непривычное ухо, и роман *тяжело* читается. Автор должен простить это нам, простым смертным, требующим от беллетристов искусства *живописать*. Роман Чернышевского со стороны искусства ниже всякой критики; он просто смешон. И лучшая половина человеческого рода, женщины, к которым г. Чернышевский обращается, как к чувствам, оказывающим более сметливости, чем обыкновенный «проницательный читатель», не могут переварить женских разговоров в новом романе.

Но г. Чернышевский не беллетрист; на изготовление романа его вызвали обстоятельства, от него не зависящие: потребность деятельности и невозможность ее в другой форме. Г. Чернышевский очень благоразумно оговорился, что он не художник и за искусством не гонится, а потому, кто станет пространно доказывать несостоятельность романа как беллетристического произведения, тот напрасно потратит труды и время. Об этом говорить не стоит.

Г. Чернышевский публицист, и публицист известной школы. Он не может напечатать статейку, например, в «Современнике» и в «Русском вестнике». В своем романе он вышел поборником той же самой школы, и эта последовательность есть первая его замечательность. Он в своем романе (труде для него непривычном) последовательно провел заповедные идеи своей школы. Мало этого, г. Чернышевский доказал, что он не такой заоблачный летатель, не беспардонный теоретик, который, по выражению одного московского публициста, хочет сразу создать новую землю и новое небо. Напротив, автор «Что делать?» доказал, что (и это самое главное) люди, живущие под этим небом, на этой земле, таковы, каковы они есть. Он помнит, что *il faut prendre le monde comme il est, pas comme il doit être*,¹⁸ и говорит просто и ясно, что и в этом *monde* умные люди могут стать твердо и найти себе, *что делать*. Это самая важная заслуга г. Чернышевского. Вот основания, по которым я признаю роман г. Чернышевского очень полезным, и постараюсь это доказать несколько подробнее.

Была (и это очень недавно) на Руси ужасная эпоха фразерства, страшного, разедающего и все импонирующего фразерства. Тургеневский Рудин — сын этой эпохи и ее памятник. Началась другая эпоха. Пошел запрос на Инсаровых. Инсаровых оказалось очень мало. Потому как инсаровское дело нам непривычное. Явились Базаровы¹⁹. Тургенев переживал эти метаморфозы и, стоя с мастерской кистью в руке, срисовал их в свой прелестный альбом. Все они стоят перед нашими глазами, от слабовольного, нравственного импотента Рудина, до сильного и честного Базарова. Тип Базарова многим нравится, многим не нравится. Мне лично он нравится, но я бы позволил себе пожелать ему быть несколько мягче, не мусолить собою без нужды непривычного глаза, не раздражать без дела чужой барабанной перепонки и даже, пожалуй, не замыкать сердца для чувств самых нежных, ибо они не мешают героизму.

Уроды Рудины, после предания этого типа посмеянию, шатались без дела. Неспособность к самостоятельному труду, неспособность «слепую бабу кор-

мать» была в них очень уж ярка. В государственной экономии людям этим приходилась роль самая печальная. Инсаровыми они не могли сделаться по трусости, по эгоизму, по гадости своих тощих жизнелюбивых натурок. «Современник» начал разрабатывать другие теории. Теории эти, не касаясь их достоинств или недостатков, идут вразрез с стремлениями «Русского вестника», а следовательно, никак не могут сойтись с тем, с чем так искренно сошелся экс-англоманский журнал. Но неизвестно было, да еще и до сих пор неизвестно: сойдется ли «Современник» с тем, к чему он, по мнению многих, все гнет и ломит. Я много очень в этом сомневаюсь, а отставные Рудины сомневаются в этом несравненно более, чем я, чем все мы. Но им это направление подошло на руку. Тянуть за «Современник» — значит упираться, оппозицию делать; ну и потянули. Таким образом вы и либерал и не то, что Инсаров, и положеньице есть — безопасно. Однако все это шло еще без знамени, без клички, нестройной толпой, не знавшей, что она такое. Талантливым пером Тургенева обрисован Базаров, произнесено слово «нигилизм», и завелись, или стали разводиться, думаете *нигилисты*? Нет, стали разводиться, или, лучше сказать, никто не стал разводиться, а рудинствующие импотенты стали импотентами базарствующими.

Обществу не понравилось новое явление, да и никакому самому снисходительному обществу это явление понравиться не могло. По присущему каждому обществу консервативному началу, общество стало с своей стороны упираться и даже стало вспоминать о Рудине. Причины этого очень просты: Рудин прежний ни к чему не мог быть употреблен, но он никому не наступал на ногу, а базарствующий Рудин хоть тоже не может быть употреблен туда, куда годился покойный Базаров, но он *действует*. Орудия действия у обоих Рудиных одни и те же: *фразы*. Как прежний Рудин работал фразой, только чтоб «заявиться», так и базарствующий Рудин в существе дела тоже все хлопочет «*заявиться*». Только старому Рудину для этого много нужно было говорить, а нынешнему два слова: «Не с нами, так подлец».

В порождении вот этих-то нигилистов винят обыкновенно «Современник». Я думал всегда, что это неосновательно, а теперь, после романа г. Чернышевского, я в этом даже твердо уверен.

«Современник» принял под свое покровительство нигилизм, он защищал нигилистов; а в это время Рудины заменили одни фразы другими и стали всем надоедать своей грубостью и нахальством. Чем же тут виноват «Современник»? Разве это *нигилисты*? Разве каждая гадина, набравшаяся наглости и потерявшая стыд, — *нигилисты*?

Нигилисты, которых мы видим и которые нам успели надоесть своими гадостями, достались нам по наследству, а сгруппировал их и дал им пароль и лозунг не «Современник», а Иван Сергеевич Тургенев. После его «Отцов и детей» стали надюжаться эти уродцы российской цивилизации. Начитавшись Базарова, они сошлись и сказали: «Мы сила». Что ж нам делать теперь? Так как они никогда не думали о том, *что им делать*, то, разумеется, сделали, что делают обезьяны, то есть стали копировать Базарова. Как же его копировать? Ну, обыкновенный прием карикатуристов в ход. Взял самую резкую черту оригинала, увеличил ее так, чтобы она в глаз била, вот и карикатурное сходство. То и сделано. Базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы негде взять, ну копируй его в резкости ответов, и чтоб это было позаметнее — доведи это до крайности. Гадкий

нигилизм весь выразился в пошлом отрицании всего, в дерзости и в невежестве. Отрицание это будто бы и есть самый нигилизм, а дерзость и невежество его последствия. Дерзость и невежество нигилистующих Рудиных не имеют пределов и доходят до злости. Один талантливый наш беллетрист, из школы реалистов, серьезно уверяет, что дрянно с пылью, называющее себя нигилистами, — *разбойники*. Это печальное убеждение он вынес из среды самых яростных нигилистов. В самом деле, у людей этого разбора сострадание не в нравах. Посадите такого господина на какое хотите место, он сейчас и пойдет умудриться, как бы ему побольше съехать *не своего*. Сделайте его приказчиком, хоть в книжном магазине, он и там приложит свой нрав. Карячиться станет, едва говорит, и то с грубостью; велите ему двух сотрудников рассчитать: нигилисту даст деньги, а не нигилиста десять дней проводит²⁰. Что ему за дело, что человек напрасно тратит рабочее время, ходя да «наведываясь»? Что ему до того, что у этого сотрудника жена без башмаков, дети чаю не пили, хозяин с квартиры гонит? Квартира *отрицается*, потому фаланстерия будет; жена *отрицается*, потому что в «естественной» жизни (у животных, например) нет жен; дети и подавно *отрицаются*, их община будет воспитывать; родители им не нужны. Познакомьтесь с таким соколиком, да если он вас не боится и если вы не сам г. Чернышевский, то он вам во второе же свидание вместо любезностей дурака завяжет. Это ничего, это все естественно. Жалеть никого не следует, потому что

Век жертв очистительных просит²¹.

Помогать — нечего рваться, потому что «чему уцелеть, то останется»²². Чувства — вздор, любовь — вздор, совесть — вздор, идеи — вздор, все вздор, не вздор только *мы*, ибо *мы* есмь *мы*. Это еще старые типы, обернувшиеся только другой стороной. Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое. Это даже Сквозники-Дмухановские. «Я, — говорит, — тебя мучить или пытать не стану — это законом запрещено. А вот ты поешь-ко у меня селедки²³».

Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных лодышек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма.

Но должны же быть другие настоящие *нигилисты*, из которых вышел Базаров! Каковы же они? Что они могут делать?

Н. Г. Чернышевский отвечает на это в своем романе и говорит этим же романом, что следует делать в нынешнее время и при нынешних обстоятельствах людям, связанным с автором солидарностью симпатий.

Г-н Чернышевский довольно давно уже многим стал представляться каким-то всепоглощающим чудовищем, чем-то вроде Марата²⁴ или чуть-чуть не петербургским поджигателем²⁵. Эту репутацию г. Чернышевскому устроила, разумеется, людская слепота и трусость, но более всего он обязан за нее нигилистующим Рудиным.

Общество, сочинившее себе о г. Чернышевском черт знает какие представления, нельзя упрекнуть в большой дальновидности, но нельзя и удивляться, что оно дошло до весьма странных понятий о г. Чернышевском как о общественном деятеле. Стоит только сообразить, что статьи г. Чернышевского далеко не для всех симпатичны и должны быть особенно неприятны разрождающемуся на нашей земле эписериству²⁶. Пожары и другие странные события навели страх на людей робких. «Кто это все делает? Батюшки мои! Кто?» — «А вот, вот это...